

Федор Михайлович
ДОСТОЕВСКИЙ
1821 — 1881

Федор
ДОСТОЕВСКИЙ

Бесы

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
Д 70

Вступительная статья Владимира Туниманова

Комментарии Тамары Орнатской

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Достоевский Ф.

Д 70 Бесы : роман / Федор Достоевский. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 704 с. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-01464-0

Уже были написаны «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», а Достоевский все еще испытывал острое чувство неудовлетворенности и, по собственному признанию, только подбирался к главному своему произведению, перед которым вся «прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение». Однако в политической жизни России случилось нечто, заставившее Достоевского изменить свои литературные планы и приступить к созданию романа с вызывающим и символичным названием «Бесы». Спиралеобразное развитие истории вообще и российской истории в частности позволяет думать, что роман Достоевского «Бесы» будет интересен новым поколениям читателей не только как шедевр классической литературы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44

© В. Туниманов (наследник), статья, 2000
© Т. Орнатская, комментарии, 2000
© Оформление.

ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“, 2012
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-01464-0

«ЗАКРУЖИЛИСЬ БЕСЫ РАЗНЫ...»

Уже были написаны «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот» и другие шедевры, жемчужины мировой литературы, а Достоевский все еще испытывал острое чувство неудовлетворенности и, по его собственному признанию, только подбирался к главному, самому заветному произведению. В конце 1860-х годов родилась идея грандиозной эпопеи «Житие великого грешника». Но пока вынашивался этот замысел «настоящей поэмы», далекой от «обличения современных убеждений», и вызревала мысль, перед которой вся «прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение», последние политические события властно вторглись в планы Достоевского, потеснив «главную идею» жизни.

Что же так взволновало Достоевского и легло в основу сюжета романа с вызывающим и символическим названием «Бесы»? Бесспорно, это деятельность тайного общества «Народная расправа», убийство пятью членами организации слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова (в романе Шатов), процесс над большой группой заговорщиков, проходивший в 1871 году в Петербурге и широко освещавшийся в периодической печати. Внимание писателя привлекли обстоятельства убийства, идеологические и организационные принципы теоретического общества и особенно зловеющая и загадочная личность руководителя и вдохновителя «Народной расправы» Сергея Геннадиевича Нечаева (в романе Петр Степанович Верховенский).

Программа общества, структура, моральный кодекс организации нашли яркое воплощение в так называемом «Кате-

хизисе революционера». «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», — провозглашалось там. Единственной мерой в отношении революционера к своим товарищам, утверждал «Катехизис», должна была стать «польза революционного дела», а не «личные чувства». Соображениями «пользы дела» оправдывалось право революционера не стесняться себя никакими средствами. «Поганое общество», подлежащее беспощадному разрушению, подразделялось «Катехизисом» на шесть категорий. К первой категории были отнесены люди, «особенно вредные для революционной организации» и потому подлежащие немедленно уничтожению; ко второй — те, которым «даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта»; к третьей — «множество высокопоставленных скотов или личностей... пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой» — их предлагалось всячески опутывать и эксплуатировать, превратив в послушных рабов организации; к четвертой — «государственные честолобцы и либералы», которых предлагалось «скомпрометировать... донельзя», дабы «их руками мутить государство»; к пятой — доктринеры, конспираторы, «праздно глаголящие», — тех следовало толкать на «практические» дела, в процессе которых последует «бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих». В шестую категорию попали женщины, будущее которых (кроме небольшой и тщательно проверенной и отобранной касты «совсем наших») определялось столь же сурово.

Альбер Камю в книге «Бунтующий человек» так оценивал «Катехизис»: «Нечаев не только милитаризировал революцию, он считал, что ее руководители вправе употреблять по отношению к подчиненным ложь и насилие... Ни одна революция до той поры не осмеливалась заявить в первых же строках своих скрижалей, что человек — это всего лишь слепое орудие. Ряды ее участников пополнялись с помощью традиционных призывов к мужеству и духу самопожертвования. Нечаев же решил, что колеблющихся можно шантажировать и терроризировать, а доверчивых — обманывать».

Таков был этот печально знаменитый документ, авторы которого бессмысленным убийством Иванова продемонстрировали, что их-то никак нельзя отнести к числу «праздно

глаголящих». Огромное и удручающее впечатление произвел он на Достоевского, реализовавшего в романе «Бесы» все главные пункты «Катехизиса». Деятельность Петра Верховенского и других «бесов» по организации хаоса в городе, циничная эксплуатация в этих разрушительных целях «либеральствующей» губернаторши и ее недалекого мужа, компрометация и опутывание сплетнями, интригами обывателей, поджоги, убийства, скандалы, богохульства, союз с уголовно-разбойничьим миром — все это прямо соответствует предписаниям «Катехизиса» и других «возмутительных» прокламаций.

«Революционер — человек обреченный», — провозглашал «Катехизис». Он «беспощаден для государства», и от него вообще никто «не должен ждать для себя никакой пощады». В «Бесах» обреченность террористов подчеркивает слово *отчаяние*, многократно повторенное. К *отчаянию* приходит «чистый» теоретик Шигалев, и в *отчаяние* собираются свергнуть страну заговорщики. Блестяще пародируются в романе диктаторско-бюрократические правила организации и авантюристическая тактика «Народной расправы». «Нет ничего сильнее мундира, — откровенничает мошенник и политический честолюбец Петр Верховенский. — Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные согладатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность... Затем следуют чистые мошенники; ну, эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется».

Достоевский хотел мимоходом за три месяца сочинить памфлет на злобу дня. Он писал философу и критику Н. Н. Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Однако очень скоро Достоевскому стало ясно, что выразить между прочим в сочинении памфлетно-тенденциозного типа накопившееся в уме и в сердце просто невозможно. Роман незаметно и неизбежно все больше и больше усложнялся, органически впитывая

мотивы «Жития великого грешника» и других временно отодвинутых на задний план замыслов. И вот уже Достоевский объявляет издателю журнала, что его «Нечаев» «только аксессуар и обстановка действия другого лица, которое действительно могло бы называться главным лицом романа».

Новый главный герой — «великий грешник» Николай Всеволодович Ставрогин — «...тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо трагическое... Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское типическое лицо... Я из сердца взял его». От Николая Ставрогина протянутся идеологические линии как к исповеднику религии «человекобожества» Кириллову, так и к почвеннику Шатову, верующему в особую миссию русского «народа-богоносца». Ставрогин и автор «устава» организации Петра Верховенского: тому мерещится в будущем аристократ в роли Ивана Царевича, восседающего на нигилистическом троне.

Но силы и идеи главного героя — в прошлом, в воспоминаниях «учеников», в легендах, окружающих загадочную «байроническую» личность Ставрогина, много раз путешествовавшего по ту сторону добра и зла. Прошлое, в сущности, эмансипировалось, отделилось от него; оно мстит и предъявляет неустанно свои счета «мертвецу», «гробу повапленному» Ставрогину. Прошлое воплотилось в неподвижные идеи Шатова и Кириллова, фантастический и вещий бред Хромоножки, в разрушительно-провокационную деятельность Петруши Верховенского. Ставрогин в некотором смысле «солнце», вокруг которого все вращается в романе. Но это потухшее солнце.

Ставрогин невольно одновременно играет множество ролей. И это его бесконечно тяготит, порождая бессильную жалобу: «Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?» Естественно, что Ставрогин всех разочаровывает, обманывая надежды, разрушая мечты и планы. Кириллов, Шатов, Петр Верховенский, даже преданный старый слуга Алексей оскорбляют, разоблачают или высказывают явное осуждение и недоверие Ставрогину. Кульминации эта растянувшаяся на весь роман кампания развенчания идола, разоблачения «самозванца» достигает в сцене встречи Ставрогина

и Хромоножки, его законной жены Марьи Лебядкиной. Ее видение мира неизмеримо глубже обычного человеческого: приоткрывается завеса, скрывающая грядущее. В бреду героини фантастическим, причудливым образом совмещаются мечты об идеальном Ставрогине и предвидение будущей катастрофы («у тебя нож в кармане»). Ужас искажает лицо «сивиллы»; неожиданное появление Ставрогина представляется ей продолжением сна: «Она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь как испугавшийся ребенок; еще мгновение, и она бы закричала». Магическая перспектива преобразует реальный мир, сообщая ему колдовской, пророческий колорит, обнаруживая истинную суть «принца Гарри» (персонаж хроники Шекспира «Генрих IV», с которым сопоставляется в романе Николай Ставрогин). Хромоножка срывает маску: «князь» и «жених» исчезают где-то в сказочном пространстве. Звучит анафема сычу, купчишке, Гришке Отрепьеву.

Роман завершается жутким протокольным описанием обстоятельств самоубийства «гражданина кантона Ури»: жирно намыленный шнурок и другие, на всякий случай приготовленные необходимые атрибуты «про запас». Это самоубийство, совершенное в ясном рассудке, тщательно подготовленное. Ставрогин убежден, что ему надо «сместить себя с земли как подлое насекомое», но так смести, чтобы не заподозрили в его поступке «великодушие» или помрачение рассудка, как в выстреле Кириллова. Самоубийству предшествует письмо «русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность». Оно — осколок несостоявшейся исповеди героя, исповеди-итога, исповеди-краха. Письмо подтверждает справедливость и точность суждений о Ставрогине других и четко обнажает суть трагедии героя: «...кто теряет связи с своею землею, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло».

Николай Ставрогин во многом так и не достиг положения главного героя, ограничившись фактически лишь «претензией» на него. В не меньшей степени на роль главного героя может претендовать либерал-идеалист 40-х годов Степан Трофимович Верховенский, хотя самому писателю он иногда

представляется «лицом второстепенным» (правда, в то же время и «краеугольным камнем» романа). История жизни, падения и прозрения «приживальщика» и «эстета» не подчинена в романе линии Ставрогина и нисколько не менее значительна. На протяжении почти всего романа Степан Трофимович показан в иронически-пародийном свете «похвального слова» Хроникера, беспощадно высмеивающего его личную жизнь, творчество, либеральные воззрения, ораторские претензии. Кажется, он всесторонне обследован учеником и «конфидентом», раз навсегда загнан в историческую нишу как «человек сороковых годов». Однако Степан Трофимович убежал и от городских кошмаров, и от своего насмешливого жизнеописателя. Бегство Степана Трофимовича — прорыв традиционности и косности. Мотив «срыва с горы» в применении ко многим героям романа (губернатор Лембеке, Лиза Дроздова, мещанин на пожаре, «кусающийся подпоручик») — один из центральных в произведении: сопоставляются различные виды высвобождения стихийной, часто разрушительной энергии, подспудно таящейся в человеке. Эта энергия выбрасывает Степана Трофимовича в широкий мир. Последнее странствие очищает душу и просветляет ум либерала-идеалиста. Наступает время великого покаяния и очищения. И кажется, исчезают кошмары, катастрофы, преступления, уступая место образу другого, обновленного мира, другой, исцелившейся от всех болезней России. Достоевский «наделяет» героя своими заветными мыслями и надеждами. Обезумевшему, очутившемуся у гибельной черты миру умирающий идеалист шлет слово утешения и спасения: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает... Друзья мои, все, все: да здравствует Великая Мысль! Вечная, безмерная мысль! Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть Великая Мысль».

В романе оказались радикально нарушены пропорции между главным и второстепенным. Да и нет там собственно второстепенного. Равновелики со Ставрогиным, а в чем-то и превосходят его такие удивительные «эманации» идей «ба-

рича», как Кириллов и Шатов. Самоубийство «великодушного» Кириллова в своих подлых целях использует Петр Верховенский, но это в сюжетно-прагматической плоскости романа. Безумие Кириллова — высшего и религиозного разряда. Этот чистый, добрый и благородный человек — бунтарь. Исходная точка бунта Кириллова: «Вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?» Ответ Кирилловым найден трагический — самоубийство; убивая себя, он стремится заявить высшее своеволие, «страшную свободу» свою, утопически и безумно веруя, что тем самым положит начало обновлению человечества, даст сигнал к началу великой духовной революции, которая может совершиться в душе каждого. Камю в философском эссе «Миф о Сизифе», в котором он посвятил этому герою романа специальную главку, писал, что «Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен показать своим братьям царственный и трудный путь, на который он вступил первым. Это педагогическое самоубийство». А философ Лев Шестов полагал, что именно Кириллов, этот «великий и загадочный молчаливый и столпник», является настоящим героем и «душой» романа.

Кириллов жаждет освободить людей от чувства страха, боли. Как подвижник, он обязан преодолеть страх и боль первым, достичь почти невозможного, невысказанного состояния, когда ему будет «все равно, жить или не жить». Ложная идея приводит будущего «спасителя» мира, влюбленного в жизнь, почти к человеконенавистничеству, декларации безразличия к царящему везде злу. Его не просто придавила, а съела идея. Знаменательно, что в намечавшемся предисловии к роману Достоевский так определил суть бунта Кириллова и главную мысль произведения: «В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды... Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Шатову в планах Петра Верховенского принадлежит особая роль: он жертва, обреченная на гибель ради общего дела. Ставрогин бесцеремонно излагает циничную потаенную мысль своей «обезьяны»: «...подговорите четырех членов

кружка уколошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать». Здесь все строго соответствует обстоятельствам нечаевского дела. Но внешними обстоятельствами сходство Шатова и Иванова исчерпывается. Современники имели серьезные основания говорить о близости почвеннических речей Шатова к идеям самого Достоевского, темпераментно отстаиваемых им в публицистических статьях. Расположенность Достоевского к Шатову явственно ощутима в романе. Сказалась она, в частности, и в том, что Шатов погибает на пороге новой жизни возрожденным, счастливым человеком. Безусловно, весьма сочувствует Достоевский и шатовской теории «народа-богоносца».

«Под стеклянным колпаком» провинциального города бушуют страсти и происходят чрезвычайные, дикие события в романе. Провинциальный быт оказался идеально подходящим для рассказа о «бесовском» разгуле, идеологическом бездорожье, «химическом» распаде. Быт в «Бесах» безукоризненно слит с атмосферой всего произведения, специфически и символически освещен. Город хроники — замкнутое, грязное и мрачное пространство. Есть что-то гнилое, давящее, безысходное в тех немногих подробностях, о которых счел нужным рассказать хроникер: мокрые тротуары, деревянные мостки, глухие темные закоулки, бесконечные ряды заборов, длинный, мокрый плашкоутный мост. Символичен ночной поход Ставрогина по жутковатым и пустынным улицам, по тому нескончаемому переулку, по которому он брел, «увязая с каждым шагом вершка на три в грязь». «По холодной и топкой грязи» бежит Марья Игнатьевна, жена Шатова, и в той же грязи ерзает Федька Каторжный, подбирая деньги за будущее убийство. Задыхаясь, «увязая по колено в грязь», догоняет Ставрогина Петр Степанович. Кажется, что в засасывающей грязи увязают как бесы-нигилисты, так и обитатели безымянного губернского города: сбились все...

Быт часто переходит в символику (иногда апокалипсическую) и снова застывает в привычных «низких» пределах. «Самовар кипел с восьмого часу, но... потух... как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь... Впрочем, если надо, я сочиню», — балагурит капитан Лебядкин. Хаос, беспорядок, грязь, мерзость запустения в жилище Лебядки-

ных. Здесь бушует вечно пьяный капитан, укрощая нагайкой блаженную сестру. Но в этой мизерабельной трущобе звучит поэтический рассказ Хромоножки о Богородице.

Факты, сообщаемые вроде бы в силу необходимости и в угоду «реализму», теряют свою вещественность, грубую осязаемость и переводятся в религиозно-философскую, инобытийную, «лунную» плоскость. Невозможное в «Бесах» возможно, а возможное почему-то не сбывается. Герои романа и возникают каким-то фантастическим образом: с неба или луны соскочившие, упавшие Петр Верховенский и Федька Каторжный. Заметна тенденция к перенесению действия в разреженные, «неземные» сферы, где встречаются «отвлеченные существа на воздушном шаре» и все совершается в «беспредельности» и в «последний раз» (Шатов обращается с лихорадочным призывом к Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... и в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим»).

Беснующаяся и сплетничающая провинция — фундамент трагических и абсурдных событий романа, почва, на которой стремительно вызревает безумие. Символична затхлая атмосфера города. Здесь господствует и правит бал Молва. Циркулируют анонимные письма, носятся в воздухе подозрения и темные слухи. Уверенно пробивает себе дорогу сплетня — тут каждый сплетник и клеветник, преисполненный зависти и желания зла ближнему. В городе господствует безысходность всеобщей поруки и взаимного выслеживания. От этого «всемства» негде спрятаться и некуда бежать. И тот же «духовный» климат создает в подпольном кружке, присовокупляя новые компоненты — «шпионство — провокацию — донос», Петр Верховенский. Прообразом «революционной» организации, основанной на страхе и взаимной слежке, послужил губернский город, а затем уже обновленная нигилистическая модель мира проецируется в светлое будущее. Теоретик Шигалев выстраивает систему будущего «свободного» человечества, в которой тотальная подозрительность возводится во всеобщий закон, чем умиляет деятеля Верховенского: «У него хорошо в тетради... у него шпионство. У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны». Сдерживая возбуждение, практик Петр

Верховенский из далекого будущего (там он предполагает быть диктатором) возвращается к текущему моменту (приводит длинный перечень подходящего для «черной» работы материала), но, не одолев приступа фанатизма, выкликает: «Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».

И уже как идеалист и фанатик, Петр Степанович вводит в «модель» будущего мира поэзию, над триадой «доносительство — провокаторство — убийство» возносит легенду об Иване Царевиче. А тем временем, нарастая как снежный ком, сгущаясь, слухи выливаются в общую сутолоку и грандиозный скандал; на фоне кощунств и безобразного «литературного праздника», освещаемые огнем пожарищ, разыгрываются трагические сцены убийств и самоубийств. Низкое и высокое сплетаются в единый узел, апокалипсис и бурлеск причудливо уживаются вместе, образуя единый трагедийно-памфлетно-символический комплекс.

Неотделим от трагических событий и удушливого духовного климата города и очевидец-рассказчик, сопрягающий предысторию и настоящее, обнажающий скрытые от посторонних и непосвященных причины и следствия, тайные пружины, — хроникер Антон Лаврентьевич Г-в. Он, вестник и человек, оказывающий услуги другим, почти лишенный личной биографии летописец, собирающий по возможности точные данные и факты, несколько напоминает профессионального газетчика, репортера. Бег — его ведущее состояние. Суетливость Хроникера достигает апогея во время праздника: чем скандальнее, суматошнее события, тем стремительнее его передвижения. Г-в — беспокойный, нервный Хроникер периода брожения, безумия, беснования, человек толпы, растерянный, сбитый с толку. Но в то же время бег Хроникера не просто обычная суетная погоня за сенсационными фактами, объяснимая «аппетитом» к скандальному. Это и движение к истине, стремление найти настоящий путь исцеления общества от всевозможных болезней.

Критик-народник Н. К. Михайловский упрекал Достоевского в том, что писатель «ухватился» не за тех бесов, и сожалел, что удачно обрисованный даже «в художественном отношении» Шигалев «стоит в самом заднем углу» и «не

развертывает своей идеи вполне». Критик жестоко ошибся: Достоевский как раз гениально разглядел самых опасных и зловещих бесов. Что же касается Шигалева, то его идеи с помощью легиона Петров Верховенских, Липутиных, Лямшиных «развернули» в XX столетии более чем впечатляюще, превратив в доктрину государственного террора. Чудовищным прыжком в будущее звучат напутственные слова Петра Верховенского, обращенные к «товарищам», только что зверски расправившимся с заблудшей овцой, отбившейся от «стада»: «Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело; имейте всегда это пред глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство, и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти; умных приобщим к себе, а на глупых поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых».

Эти слова героя романа стали, вопреки утопическим верованиям и надеждам Достоевского, пророческими. Программа хлестаковствующего мошенника и авантюриста, подлеца Петруши была весьма успешно перевыполнена: и государства рушились, и поколения перевоспитывались-перековывались. Целая армия юных «энтузиастов» Эркелей ввергала в «отчаяние» нации. И были умерщвлены десятки миллионов Шатовых. Грустное впечатление производят поминутно сбывающиеся пророчества и с какой-то дьявольской неизбежностью «возвращающиеся» Верховенские-Нечаевы: роман современного французского писателя Хорхе Семпруна «Нечаев вернулся» и множество других книг — художественных, философских, публицистических, — давно и сравнительно недавно увидевших свет, слишком убедительно говорят о поразительной живучести «бесов», изображенных Достоевским более столетия назад.

XX век, давеча благополучно скончавшийся, к несчастью, подтвердил точность многих художественных диагнозов и прогнозов писателя. С «бесами» Пушкина—Достоевского все предельно ясно. Они уже очень давно «кружатся», меняя маски, национальность, идеологические «принципы». Хуже обстоит дело с евангельским эпитафием, который так толковал Степан Трофимович Верховенский, выражая мечту Достоевского: «Мне ужасно много приходит теперь мыслей:

видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!.. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности...» Мы все еще бесконечно далеки, возможно, даже дальше, чем во времена Достоевского, от той минуты, когда «великий и милый наш больной» исцелится от всех своих многочисленных язв. Но тем острее воспринимается этот необыкновенно современно звучащий роман. Не просто великий роман — целая эпоха в истории мирового романа, по словам одного из многочисленных зарубежных исследователей творчества русского писателя.

В. А. Туниманов

Бесы

Роман

*Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.*

.....

*Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?*

А. Пушкин

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из чело- века, вошли в свиней; и бросилось стадо с кру- тизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть слу- чившееся и, пришедши к Иисусу, нашли чело- века, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужас- нулись. Видевшие же рассказали им, как исце- лился бесновавшийся.

Евангелие от Луки. Глава VIII, 32—36

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: НЕСКОЛЬКО ПОДРОБНОСТЕЙ ИЗ БИОГРАФИИ МНОГОЧТИМОГО СТЕПАНА ТРОФИМОВИЧА ВЕРХОВЕНСКОГО

I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочисленном Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их

не раздавил, воображая, что он всё ещё великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутиями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но ещё в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, — так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его непрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов.

Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом — впрочем, уже после потери кафедры — он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования — кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать

же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют непрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? — отвечает, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его — поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, и догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, — печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился

к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

II

Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиною перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставругиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрасудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особою много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее

предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно. Скажу прямо: всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепились с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани Бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что и именице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, — очень маленькое, — приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравни-

тельно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укорижны сохранялась и в лежащем положении, — надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» — и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в середине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-мещанка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

III

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболит и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных

излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегии, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: наавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибежал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибежал, но неоднократно описывал всё это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственной смертью, а от нее ждет последнего слова, которое всё решит, и пр., и пр., всё в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.

— Нельзя... честнее... долг... я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! — отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем.

Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболел своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди непрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.

IV

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий

петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе вышем, по смерти ее супруга, всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо вернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

— Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй слу-

чай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсию. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтора ста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.

Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в сад и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но...» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое

и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользящим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:

— Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и всё пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна галлюцинация пред болезнью, тем более что в ту же ночь он

и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

V

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороде он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытой книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлёкся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она

находилась, ещё девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович всё ещё помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Всё чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» — и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему ещё больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» — вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было применить и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства природы своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (всё это ей доставлялось); но у ней только голова

закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

VI

Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унижительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней

СОДЕРЖАНИЕ

«Закружились бесы разны...». В.Туниманов	5
--	---

БЕСЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. Вместо введения: Несколько подробностей из биографии многотимого Степана Трофимовича Верховенского	19
Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство	50
Глава третья. Чужие грехи	89
Глава четвертая. Хромоножка	133
Глава пятая. Премудрый змий	164

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая. Ночь	211
Глава вторая. Ночь (продолжение)	257
Глава третья. Поединок	279
Глава четвертая. Все в ожидании	291
Глава пятая. Пред праздником	312
Глава шестая. Петр Степанович в хлопотах	335
Глава седьмая. У наших	377
Глава восьмая. Иван-Царевич	400
Глава девятая. Степана Трофимовича описали	410
Глава десятая. Флибустьеры. Роковое утро	420

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая. Праздник. Отдел первый	445
Глава вторая. Окончание праздника	472

<i>Глава третья. Законченный роман</i>	499
<i>Глава четвертая. Последнее решение</i>	519
<i>Глава пятая. Путешественница</i>	542
<i>Глава шестая. Многотрудная ночь</i>	571
<i>Глава седьмая. Последнее странствование Степана Трофимовича</i>	601
<i>Глава восьмая. Заключение</i>	635

ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Глава девятая. У Тихона</i>	647
<i>Зависть. (Из подготовительных материалов к «Бесам»)</i>	678
<i>Комментарии. Т.Орнатская</i>	685

Литературно-художественное издание
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
БЕСЫ

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Дмитрия Положенцева
Корректоры Елена Омеляненко, Татьяна Бородулина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 26.04.2018. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 31. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



У-АКБ-4469-13-Р